

**ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД С РУССКОГО
НА ИТАЛЬЯНСКИЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИТАЛЬЯНЦЕВ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «TEMPUS» 2001-05**

ПРОГРАММА

1. Письменный перевод как **особая компетенция** в овладении языком, требующая теоретического осмысления и практической подготовки.

2. Перевод требует предварительного понимания **системных расхождений** между русским и итальянским языком во избежание калек и руссизмов в итальянском.

Это касается в основном следующих аспектов:

- гипотаксиса и паратаксиса в русском и итальянском;
- длина предложения в русском и итальянская; несовпадение риторических традиций в русском и итальянском;
- выражение логических связей в русском и итальянском: внутри сложного предложения, в сверхфразовом единстве;
- референты цепочки подлежащих в русском и итальянском языках;
- группа предикат+ личные местоимения в русском и итальянском языках;
- согласование времен в русском и в итальянском
- способы выражения семантики императива в русском и итальянском;
- специфика выражения действий, относящихся к будущему в русском и в итальянском;
- анафора в русском и итальянском (местоименная замена, синонимическая замена, глубина местоименной анафоры);
- эллипсис в русском и в итальянском;
- специфика синонимических рядов в русском и итальянском

3. Перевод предполагает профессиональные навыки **организации процесса** перевода. К ним относится навык выделение трех этапов перевода: подготовительного; собственно письменного перевода; и заключительного-редактирования.

Первый, подготовительный этап предполагает:

- анализ стилистического регистра текста, привлечение (при необходимости)
- аналогичных текстов на родном (итальянском языке), ознакомление с его – синтаксической, лексической, терминологической спецификой;
- подготовку необходимой справочной литературы, выяснение возможностей получить необходимые справки у специалистов по тем или иным вопросам, могущим возникнуть в процессе перевода;
- предварительное внимательное прочтение и прояснение (или хотя бы выявление) темных мест в переводимом тексте;
- разбор отрезка текста, подлежащего переводу в данный день или на следующий день, имея в виду, что скорость перевода варьируется от 12 000 (редко) символов до 6 000 символов в день (обычно);

На втором этапе собственно письменного перевода необходимо с самого начала найти нужный ритм переводного текста, имея в виду, что ритм является

организующим началом перевода. При переводе следует переводить на слова и не фразы, а *текст*, то есть как связь слов и предложений в единое органичное целое.

Третий заключительный этап – редактирование – предполагает отстранение от оригинала и сосредоточенность на переводном тексте как на образчике письменной речи на *родном языке*. На этом этапе, на который должно быть оставлено *достаточное время*, особое внимание следует обращать на органичность переводного текста, прежде всего на:

- единство ритма;
- синтаксическую организацию текста и удобочитаемость;
- верность логических связей между фразами и крупными частями текста: абзацами, разделами;
- соответствие лексической сочетаемости с нормами языка перевода (итальянского);
- выдержанность избранного стилистических регистра;
- соответствие перевода заглавия содержанию текста.

4. При выработке стратегии перевода необходимо осознавать **специфические трудности** письменного перевода вообще и с русского языка в частности.

Наиболее значительные трудности вызывает перевод:

- реалий (злободневных; исторических, относящихся к определенной эпохе);
- культурных реминисценций;
- неологизмов и индивидуальных лексических сочетаний;
- архаизмов;
- диалектизм, передачи акцента; вкраплений на иностранном языке;
- имен собственных (имен отчеств, уменьшительных, значащих фамилий);
- апеллятивов (ты-вы; титулов);
- экспрессивной лексики; сквернословия; жаргона (тюремного, молодежного, профессионального);
- игры слов, шуток, анекдотов, считалок; эвмемизмов

5. При переводе текстов на данном языке, но относящихся к предыдущим историческим эпохам, встает вопрос о **мере стилизации и архаизации** текста, а также об учете сложившейся переводческой традиции и/или требований издателей.

6. Различия в переводе художественных/ общественно-политических и научных текстов. Эстетические критерии/ критерии полноты информации, ясности, точности в передаче мысли и логики рассуждения, правильности. Разная значимость ошибок в переводе художественных текстов/ общественно-политических и научных текстов. Наиболее частотные ошибки: в именах собственных, датах, цифрах; перевод с обратным смыслом, напр.: *согласился* вместо *не согласился*; *уже* вместо *еще*; *с пониманием* вместо *без понимания* и т.п.

Рекомендуемая литература.

1. Альманах переводчика / Сост.: Н.М.Демурова и П.И.Володарская., отв.ред. М.Л.Гаспаров. - М.: РГГУ., 2001. - 323 с.

2. Гак В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским. - М.: Эдиториал УРСС., 2004. – 264 с
3. Галь Н.Я. Слово живое и мертвое-М.:Международные отношения., 2001. – 365 с.
4. Любимов Н.Н. Перевод-искусство. - М.: Сов. Россия., 1982. – 126 с.
5. Перевод в современном мире: (Сб. ст.) / отв.ред. И.И.Убин.-М.: ВЦПю, 2001. – 77 с.
6. Перевод как лингвистическая проблема: (Сб.ст.) / отв.ред. Н.К.Гарбовский.-М.: Изд-во Моск. Ун-та., 1982. – 118 с.
7. Периодическое издание «Тетради переводчика»: Учебные записки / Коллект. Автор, под ред. Л.С.Бархударов. - М.: Изд-во ИМО., 1963-1983.
8. Федоров А.В. Введение в теорию перевода: Учеб. пособие для ин-тов иностр. яз. -М.: Изд-во. Лит. на иностр. яз., 1953. – 334 с.
9. Чуковский К.И. Искусство перевода. - М.: Л.: Academia., 1936. – 222 с.
10. Эткинд Е.Г. Мастера поэтического перевода.- СПб.: Акад.проект., 1997. – 800 с.

Юрий Трифонов

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Было обозначено сразу: не чета другим матерям, не просто начинающая старуха, а делательница истории. Но Ольга Васильевна и так смотрела на остроглазую скуластую женщину, очень морщинистую, тонкогубую, с громадной симпатией и честным желанием полюбить ее. Не потому что делательница: ко всяким реликвиям, развалинам, свидетелям старины она относилась равнодушно, но потому что - его мать. Пили чай из дешевейших чашек, чуть ли не детских. Пришла его сестра, закутанная в старушечью шаль, толстая, нескладная девушка, совсем на него не похожая, с какой-то блуждающей многозначительной улыбкой. Разговаривая, улыбалась криво и смотрела в сторону. Она была старше его года на три. Все в этом доме – стены, потолок, посуда, мебель и люди, тут обитавшие, - отличалось какой-то тайной несуразностью. И, однако, как она это все полюбила!

Он побежал в магазин за красным грузинским вином. В Гаграх пристрастились к красному! И вот когда сестра ушла в другую комнату и Ольга Васильевна осталась с будущей свекровью наедине, та вдруг спросила:

"Вы что-нибудь знаете о Светлане?" Ольга Васильевна призналась, что знает. Но смутно. Так вот вам не смутно. – И глаза, синие щелочки со стальным зрачком, впились в глаза.

Эта Светлана, о которой я слыхом не слыхивала до позавчерашнего дня, ждет ребенка от Сергея. Оказывается, та особа приходила сюда, рассказала, взвинтила (потом все прояснилось как обыкновенный шантаж, расчет на дураков), и вот теперь допытывали – плохонькая гостиная вдруг превратилась в комнату призрачного трибунала, не хватало кожанки и маузера в деревянной коробке: Вы уверены, что можете быть счастливы ценою несчастья другого человека? Ольга Васильевна лепетала: "Я не знаю... А вы уверены, что это правда?" Женщина со стальными зрачками кивала холодно.

Но ведь любовь...если любят... если бросают, уходят ... - жалким голосом пыталась сопротивляться Ольга Васильевна. Вы говорите о подлецах. Мой сын не подлец. Он просто безответственный тип.

Внезапно возникла сестра, все слышавшая, и, кривя рот улыбкой, нервно, с напором, произнесла: Не обращайтесь внимания на ее разговоры, она, как обычно, все низводит до схемы! И, повернувшись к матери, очень зло и отчетливо: - Ты опять говоришь вздор! Уши вянут тебя слушать.

Задания переводчику:

1. В приведенном коротком отрывке выделите наибольшие трудности для перевода.
2. Предложите тактику перевода обращения на ты/вы.
3. Сопоставьте русский текст и итальянский перевод (Jurij Trifonov. *Un'altra vita* – Roma, Editori riuniti, 1978, переводчик не указан) и оцените тактику переводчика в тех случаях, которые представляли для вас наибольшую трудность.

L'aveva messo in chiaro subito: non era una madre come le altre, non era semplicemente una quasi-vecchia, ma una donna che aveva fatto la storia.

Ma anche indipendentemente da quella precisazione Ol'ga Vasil'evna guardava con enorme simpatia e con un sincero proposito di volerle bene quella donna dagli occhi penetranti, i grandi zigomi e le labbra sottili. E non perché avesse fatto la storia: lei era indifferente a tutte le reliquie, le rovine, le testimonianze del passato, ma perché era la madre di Sereza. Avevano bevuto il té in certe tazzine dozzinali che sembravano quasi per bambini. Poi era arrivata la sorella di lui, imbacuccata in uno scialle da vecchia, una ragazza grassa, goffa, non somigliava affatto al fratello, aveva un sorriso vago, pieno di significati. Parlando, sorrideva torcendo la bocca e non guardava negli occhi. Aveva tre anni più di Sereza. Tutto in quella casa - le pareti, il soffitto, il vasellame, i mobili e le persone che vi abitavano - era segnato da una misteriosa assurdit . Eppure, come le era piaciuto tutto questo! Lui aveva fatto una corsa al negozio per comprare del vino rosso georgiano. A Gagry era venuta a tutti e due una vera passione per il vino rosso. Ed ecco che quando la sorella se ne era andata in un'altra stanza e Ol'ga Vasil'evna era rimasta da sola con la futura suocera, questa all'improvviso le aveva domandato: "Sapete qualcosa di Svetlana?" Olga Vasilievna aveva ammesso di sapere. Ma niente di preciso. Allora ve lo dico io con precisione, - e i suoi occhi, piccole fessure azzurre con pupille di acciaio si erano come conficcati in quelli di Olga. Questa Svetlana che fino all'altroieri io non avevo mai sentito nominare, aspetta un bambino da Sergei. Quella donna, era venuto fuori, era andata l , aveva raccontato, aveva fatto una scenata (in seguito si era chiarito che si trattava di un normale riccato, un tentativo di approfittarsi di quei creduloni); ed ecco che quelle parole si trasformavano in una tortura e quel salotto malandato diventava l'aula di un tribunale di fantasmi, mancava solo il giaccone di pelle e la mauser nell'astuccio di legno. "Siete certa di poter essere felice a prezzo dell'infelicit  di un'altra persona?" Olga Vasil'evna si era messa a balbettare: "Non so... E voi siete certa che sia vero?" La donna dalle pupille d'acciaio aveva assentito freddamente.

Ma l'amore... se si ama... quando un uomo lascia una donna... - aveva tentato di controbattere con voce penosa Olga Vasil'evna. Voi state parlando di un qualsiasi farabutto. Mio figlio non   un farabutto. E semplicemente un tipo irresponsabile.

In modo inaspettato era poi ricomparsa la sorella, che aveva sentito tutto, e storcendo la bocca in un sorriso aveva detto: Non fate caso ai suoi discorsi, lei ha l'abitudine di ridurre tutto a schemi! e, rivolgendosi alla madre, le aveva detto con molta cattiveria, distintamente: - Stai di nuovo dicendo delle stupidaggini! Vien male alle orecchie a sentirti.

2.

Сергей Довлатов

ИНОСТРАНКА

Сто восьмая улица

В нашем районе произошла такая история. Маруся Татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца Рафаэля. Года два колебалась, а потом наконец сделала выбор. Хотя, если разобраться, то выбирать Марусе было практически не из чего. Вся наша улица переживала - как будут развиваться события? Ведь мы к таким делам относимся серьезно. Мы - это шесть кирпичных зданий вокруг супермаркета, населенных преимущественно русскими. То есть недавними советскими гражданами. Или, как пишут газеты - **эмигрантами третьей волны.**

Наш район тянется от железнодорожного полотна до синагоги. Чуть севернее - Мидоу-озеро, южнее - Квинс-бульвар. А мы - посередине. 108-я улица - наша центральная магистраль. У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант. Местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся. В таких случаях мы убедительно просим:

-Говорите по-русски!

В результате отдельные местные жители заговорили по-нашему. Китаец из закусочной приветствует меня:

-Доброе утро, **Солженицын!**

(У него получается - «Солозениса».)

К американцам мы испытываем сложное чувство. Даже не знаю, чего в нем больше - снисходительности или благоговения. Мы их жалеем, как неразумных беспечных детей. Однако то и дело повторяем: «Мне сказал один американец...» Мы произносим эту фразу с интонацией решающего, убийственного аргумента. Например: «Мне сказал один американец, что никотин приносит вред здоровью...!»

Здесь американцы, в основном, немецкие евреи. Третья эмиграция, за редким исключением - еврейская. Так что найти общий язык довольно просто.

То и дело местные жители спрашивают:

-Вы из России? Вы говорите на идиш?!..

Помимо евреев в нашем районе живут корейцы, индусы, арабы. Чернокожих у нас сравнительно мало. Латиноамериканцев больше. Для нас это загадочные люди с транзисторами. Мы их не знаем. Однако на всякий случай презираем и боимся. Косая Фрида выражает недовольство:

-Ехали бы в свою паршивую Африку!.. Сама Фрида родом из города **Шклова**. Жить предпочитает в Нью-Йорке...

Если хотите познакомиться с нашим районом, то встаньте около канцелярского магазина. Это на перекрестке Сто восьмой и Шестьдесят четвертой. Приходите как можно раньше.

Вот разъезжаются наши таксисты: Лева Баранов, Перцович, Еселевский. Все они коренастые, хмурые, решительные. Лева Баранову за шестьдесят. Он бывший художник-молотовист. В начале своей карьеры Лева рисовал исключительно **Молотова**. Его работы экспонировались в бесчисленных

домоуправлениях, поликлиниках, месткомах. Даже на стенах бывших церквей.

Баранов до тонкостей изучил наружность этого министра с лицом квалифицированного рабочего. На пари рисовал Молотова за десять секунд. Причем рисовал с завязанными глазами. Потом Молотова сняли. Лева пытался рисовать **Хрущева**, но тщетно. Черты зажиточного крестьянина оказались ему не по силам. Такая же история произошла с Брежневым. Физиономия оперного певца не давалась Баранову. И тогда Лева с горя превратился в абстракциониста. Стал рисовать цветные пятна, линии и завитушки. К тому же начал пить и дебоширить. Соседи жаловались на Леву участковому милиционеру:

-Пьет, дебоширит, занимается каким-то абстрактным цинизмом...

В результате Лева эмигрировал, сел за баранку и успокоился. В свободные минуты он изображает Рейгана на лошади. Еселевский был в Киеве преподавателем марксизма-ленинизма. **Защитил кандидатскую диссертацию. Готовился стать доктором наук.** Как-то раз он познакомился с болгарским ученым. Тот пригласил его на конференцию в Софию. Однако визы Еселевскому не дали. Видимо, не хотели посылать за границу еврея.

У Еселевского первый раз в жизни испортилось настроение. Он сказал:

-Ах вот как?! Тогда я уеду в Америку!

И уехал.

На Западе Еселевский окончательно разочаровался в марксизме. Начал публиковать в эмигрантских газетах запальчивые статьи. Но затем он разочаровался и в эмигрантских газетах. Ему оставалось только сесть за баранку...

Что касается Перцовича, то он и в Москве был шофером. Таким образом, в жизни его мало что изменилось. Правда, зарабатывать он стал гораздо больше. Да и такси здесь у него было собственное...

Вот идет хозяин фотоателье Евсей Рубинчик. Девять лет назад он купил свое предприятие. С тех пор выплачивает долги. Оставшиеся деньги уходят на приобретение современной техники. Десятый год Евсей питается макаронами. Десятый год таскает он армейские ботинки на литой резине. Десятый года его жена мечтает побывать в кино. Десятый года Евсей утешает жену мыслью о том, что бизнес достанется сыну. Долги к этому времени будут выплачены. Зато - напоминаю я ему - появится более современная техника...

Вот спешит за утренней газетой начинающий издатель Фима Друкер. В Ленинграде он считался знаменитым библиофилом. Целыми днями пропадал на книжном рынке. Собрал шесть тысяч редких, даже уникальных книг. В Америке Фима решил стать издателем. Ему не терпелось вернуть русской литературе забытые шедевры - стихи **Олейникова и Хармса, прозу Добычина, Агеева, Комаровского.** Друкер пошел работать уборщиком в торговый центр. Жена его стала медсестрой. За год им удалось скопить четыре тысячи долларов.

На эти деньги Фима снял уютный офис. Заказал голубоватые фирменные бланки, авторучки и визитные карточки. Нанял секретаршу, между прочим - внучку **Эренбурга.** Свое предприятие он назвал - «Русская книга».

Друкер познакомился с видными американскими филологами - **Романом Якобсоном, Малмстедом, Эдвардом Брауном.** Если Роман Якобсон упоминал малоизвестное стихотворение **Цветаевой,** Фима торопился добавить:

-Альманах «Мосты», тридцатый год, страница двести шестьдесят четвертая.

Филологи любили его за эрудицию и бескорыстие...

Фима посещал симпозиумы и конференции. Беседовал в кулуарах с **Жоржем Нива, Оттенбергом и Раннитом**. Переписывался с **Верой Набоковой**. Бережно хранил полученные от нее телеграммы: «Решительно возражаю». «Категорически не согласна». «Условия считаю неприемлемыми». И так далее.

Он заказал себе резиновую печать: «Ефим Г. Друкер, издатель». Далее эмблема - заложенный гусиным пером фолиант - и адрес. На этом деньги кончились.

Друкер обратился к **Михаилу Барышникову**. Барышников дал ему полторы тысячи и хороший совет - выучиться на массажиста. Друкер пренебрег советом и уехал на конференцию в Амхерст. Там он познакомился с **Вейдле и Карлинским**. Поразил их своими знаниями. Напомнил двум ученым старикам множество забытых ими публикаций. На обратном пути Друкер заехал к **Юрию Иваску**. Неделю жил у старого поэта, беседуя о **Вагинове и Добычине**. В частности, о том, кто из них был гомосексуалистом. И снова деньги кончились.

Тогда Фима продал часть своей уникальной библиотеки. На вырученные деньги он переиздал сочинение Фейхтвангера «Еврей Зюсс». Это был странный выбор для издательства под названием «Русская книга». Фима предполагал, что еврейская тема заинтересует нашу эмиграцию. Книга вышла с единственной опечаткой. На обложке было крупно выведено: «ФЕЙХТВАГНЕР». Продавалась она довольно вяло. Дома не было свободы, зато имелись читатели. Здесь свободы хватало, но читатели отсутствовали.

Жена Друкера тем временем подала на развод. Фима перебрался в офис. Помещение было уставлено коробками с «Евреем Зюссом». Фима спал на этих коробках. Дарил «Еврея Зюсса» многочисленным приятелям. Расплачивался книгами с внучкой Эренбурга. Пытался обменять их в русском магазине на колбасу.

Самое удивительное, что все, кроме жены, его любили...

Задания переводчику.

1. Приведенный отрывок из книги является начальным, то есть требующим от переводчика поиска адекватного и органичного для итальянского языка ритма.
2. Отрывок насыщен злободневными реалиями. Предложите свою тактику их передачи.
3. Выскажите по поводу решений, предложенных в приведенном ниже отрывке перевода (Sergej Dovlatov, *Straniera*, a cura di Laura Salmon; trad. di Laura Salmon, Palermo, Sellerio, 1991)

STRANIERA

La centottava strada

Nel nostro quartiere è accaduta questa storia. Marusja Tatarovic ha ceduto e si è innamorata del sud-americano Rafael. Per due anni ha tentennato, ma poi ha fatto la sua scelta. Seppure, a guardar bene, Marusja non avesse altro da scegliere.

Tutta la nostra via stava in ansia a vedere come si sarebbero evoluti gli eventi. Queste cose, si sa, qui da noi si prendono sul serio.

Noi, significa sei edifici in mattoni intorno ad un supermercato, abitati quasi solo da russi. Cioè, da ex-cittadini sovietici. Oppure, come scrivono i giornali, da emigranti della «terza ondata».

Il nostro quartiere si estende dalla rete ferroviaria alla sinagoga. Un po' più a nord, c'è il Meadow lake, a sud il Queens Boulevard. E noi stiamo in mezzo.

La Centottava strada è la nostra arteria principale.

Noi abbiamo negozi, asili, fotografi e parrucchieri russi. C'è un'agenzia di viaggi russa. Ci sono avvocati, scrittori, medici ed agenti immobiliari russi. Ci sono gangster e matti russi, prostitute russe. C'è pure un suonatore cieco russo.

Gli abitanti del posto, li consideriamo stranieri. Se sentiamo parlare inglese, ci mettiamo in guardia. In questi casi, chiediamo con insistenza:

-Parli russo!

Come risultato alcuni abitanti del posto si sono messi a parlare in russo. Il cinese della tavola calda mi saluta:

-Buon giorno Solzenicyn! - (A lui vien fuori Soloseniza).

Per gli americani proviamo un sentimento complesso. Non so neanche cosa ci sia di più, se indulgenza o devozione. Ci fanno pena, come dei bambini irragionevoli e spensierati. Tuttavia, ogni tanto, ripetiamo:

-Mi ha detto un americano...

Pronunciamo questa frase con l'intonazione di un argomento decisivo e cruciale. Ad esempio:

«Mi ha detto un americano che la nicotina fa male alla salute!...».

Gli americani del posto sono per lo più ebrei tedeschi. La terza emigrazione, salvo rare eccezioni, è ebraica. Così è piuttosto facile trovare una lingua comune.

Spesso gli abitanti del posto chiedono:

-Lei viene dalla Russia? Parla yiddish?!...

Oltre agli ebrei, nel nostro quartiere vivono coreani, indiani, arabi. Di neri ce ne sono relativamente pochi, di latino-americani di più.

A noi sembrano persone misteriose con i transistor (per noi è gente enigmatica, con i suoi transistor, a noi sembrano marziani). Non sappiamo chi siano; comunque, per ogni evenienza, li disprezziamo e ci fanno paura.

La strabica Frida, esprime il suo disappunto:

-Se ne andassero nella loro lercia Africa!...

E Frida stessa viene dalla città di Šklov. Vivere le piace di più a New York...

Se volete conoscere il nostro quartiere, mettetevi accanto alla cartoleria. Si trova all'angolo della Centottava e della Sessantaquattresima. Veniteci il prima possibile.

Ecco che partono i nostri tassisti: Lëva Baranov, Percovic, Eselevskij. Sono tutti robusti, accigliati, risoluti

Lëva Baranov ha più di sessant'anni. È un ex-pittore-molotovista. All'inizio della sua carriera, dipingeva esclusivamente Molotov. I suoi lavori espongono in numerosi edifici amministrativi, poliambulatori, comitati di lavoro. Anche sui muri delle chiese sconstate.

Baranov aveva studiato fin nei particolari l'aspetto di questo ministro dal viso di operaio qualificato. Per scommessa disegnava Molotov in dieci secondi e, come se non bastasse, lo disegnava anche ad occhi bendati.

Poi Molotov è stato destituito. Lëva ha tentato di disegnare Chruščëv, ma era inutile: i lineamenti di un agiato contadino si sono rivelati al di sopra delle sue forze.

La stessa storia è accaduta con Breznev. La sua fisionomia da cantante d'opera a Baranov proprio non riusciva. E così Lëva, dal dispiacere, è divenuto un astrattista. Si

è messo a dipingere macchie, linee e ghirigori colorati. E inoltre si è messo a bere e fare risse.

I vicini si lamentavano di Lëva con il commissario di quartiere:

-Beve, si azzuffa, fa cose tipo cinismo astratto...

In definitiva Lëva ha emigrato, si è messo al volante e si è calmato. Nei momenti di tempo libero raffigura Reagan a cavallo.

Eselevskij a Kiev era professore di marxismo-leninismo. Discussa la tesi di dottorato, si preparava a conseguire il post-dottorato.

Una volta, per caso, aveva conosciuto uno studioso bulgaro che lo aveva invitato ad una conferenza a Sòfia. Solo che ad Eselevskij non hanno dato il visto. Si deve che non volevano mandare all'estero un ebreo.

Per la prima volta in vita sua ad Eselevskij si è guastato l'umore. Ha detto:

-Ah! È così!? E allora me ne vado in America!

E se n'è andato.

In Occidente Eselevskij è stato definitivamente deluso dal marxismo. Ha cominciato a pubblicare sulla stampa dell'emigrazione articoli biliosi. Poi però è stato deluso anche dai giornalisti dell'emigrazione. Non gli restava altro che mettersi al volante...

Per quanto riguarda Percovic, anche a Mosca faceva il tassista. Così la sua vita è cambiata poco. Certo che si è messo a guadagnare molto di più. E anche il taxi qui era suo.

Ecco che passa il proprietario del laboratorio fotografico, Evsej Rubincik. Nove anni fa ha comprato la sua ditta, da allora sta pagando i debiti. I soldi che restano se ne vanno nell'acquisto di nuova tecnologia.

Sono nove anni che Evsej mangia pastasciutta. Sono nove anni che trascina le sue scarpe militari dalla suola in gomma fusa. È da nove anni che sua moglie sogna di andare al cinema. È da nove anni che Evsej consola la moglie con l'idea che l'attività resterà al figlio. Per quel momento i debiti saranno estinti. Ma poi - gli ricordo io - comparirà una tecnologia ancora più nuova...

Ecco che corre a prendere il giornale del mattino il neo editore Fima Druker. A Leningrado era considerato un famoso bibliofilo. Spariva per giornate intere al mercato dei libri. Aveva messo insieme seimila esemplari rari e persino unici.

In America, Fima ha deciso di diventare editore. Non vedeva l'ora di restituire alla letteratura russa i capolavori dimenticati: i versi di Olejnikov e Charms, la prosa di Dobycin, Ageev, Komarovskij.

Druker è andato a fare le pulizie in un centro commerciale. Sua moglie è diventata infermiera. In un anno sono riusciti a mettere da parte quattromila dollari.

Con questi soldi Fima ha affittato un ufficio accogliente. Si è fatto fare della carta intestata color azzurrognolo, delle biro personalizzate e dei biglietti da visita. Ha assunto una segretaria che, tra l'altro, era la nipote di Erenburg.

Ha chiamato la sua impresa «Il libro russo».

Druker ha fatto conoscenza con insigni letterati americani, Roman Jakobson, Malmstad, Edward Brown. Se Roman Jakobson citava una poesia poco nota della Cvetaeva, Fima si affrettava ad aggiungere:

-Almanacco «Mosty», millenovecentotrenta, pagina duecentosessantaquattro.

I filologi lo amavano per la sua erudizione e il suo disinteresse...

Fima frequentava simposi e conferenze. Conversava nei corridoi con Georges Nivat, Ottenberg e Rannit. Era in corrispondenza con Vera Nabokova. Custodiva gelosamente i telegrammi ricevuti da lei: «Mi oppongo decisamente». "Sono in totale disaccordo». «Non ritengo le condizioni accettabili». Eccetera.

Si è fatto fare un timbro di gomma: «Efim G. Druker - editore», poi uno stemma, un volume da cui spuntava una penna d'oca, e l'indirizzo. Con ciò i soldi sono finiti.

Druker si è rivolto a Michail Baryšnikov. Baryšnikov gli ha dato millecinquecento dollari ed un buon consiglio: imparare a fare il massaggiatore. Druker ha trascurato il consiglio ed è partito per una conferenza ad Amherst. Là ha conosciuto Weidlé e Karlinskij. Li ha sorpresi per le sue conoscenze; ha ricordato ai due vecchi studiosi una quantità di pubblicazioni di cui si erano scordati.

Sulla via del ritorno, Druker ha fatto un salto da Jurij Ivask. Ha trascorso una settimana dal vecchio poeta, conversando di Vaginov e Dobycyn: in particolare su chi dei due fosse omosessuale.

E di nuovo i soldi sono finiti.

Allora Fima ha venduto una parte della sua eccezionale biblioteca. Con i soldi ricavati, ha ripubblicato l'opera di Feuchtwanger *Süss l'ebreo*. Era una strana scelta per una casa editrice dal nome «Il libro russo». Fima supponeva che la tematica ebraica avrebbe suscitato l'interesse dei nostri emigranti.

Il libro è uscito con un solo errore di stampa. Sulla copertina era scritto FEUCHTWAGNER. Si vendeva male. In patria non c'era libertà, ma c'erano i lettori. Qui di libertà ce n'era tanta, ma i lettori mancavano. Nel frattempo la moglie di Druker ha chiesto il divorzio. Fima si è sistemato nel suo ufficio. Il locale era pieno di casse con *Süss l'ebreo*. Fima dormiva su queste casse. Ha regalato *Süss l'ebreo* a numerosi amici. Con i libri ha saldato i debiti con la nipote di Erenburg. Ha tentato di scambiarli con salame al negozio russo.

La cosa sorprendente è che tutti, tranne la moglie, lo amavano...

3.

Асар Эппель

НЕ УБОИШЬСЯ СТРАХА НОЧНОГО...

Стук! Стук! Стук! – постучали в окошко.

Стук! Стук! Стук! – а до этого была обычная тишина. Или необычная. Или понятный какой-нибудь шорох.

И внезапно – тук!.. – остается обмереть. Тук! – отважиться подойти к окну. Тук! – остается, обмерев и подойдя к окну, отодвинуть занавеску.

Кто там?

Никого.

Что там?

Темнота.

Темнота вечного осеннего вечера с дождем. Темнота позднего летнего вечера с дождем. Зимняя темнота, декабрьская, когда показалось, что кого-то из-за двойных рам не разглядел и, вовсе обмерев, пройдя тьму **керосиновой кухни**, пройдя мрак и оторопь коридорчика, спрашиваешь у дверей: "Кто там?" – и, отворив их, в накинутом перекошенном пальто бесстрашно идешь за угол, где проклятое окно. Никого.

Возвращаешься. Сидишь. Стук не померещился. Он был. Настойчивый.

Полновесный. Стекла не дребезжали.

Стук! Стук! Стук! – опять как бы в верхнее стекло. Погасив, чтобы видеть улицу, огонь, подходишь, отодвигаешь занавеску. Вглядываешься.

Никого.

Темнота.

Что же это? Страх? Но страшно всегда. А тут еще и стучали. Вот опять – как в том рассказе. Но здесь не рассказ. Здесь живешь ты. Стук! Стук! Стук! Свет погашен. Ему, раз отгибашь маскировку, вообще быть невозможно. Твоя **копилка** задута. И тогда из щели под подоконником достаешь эту вещь. Она в бумажке. Сквозь обертку ощутишь тонкий рельеф. Перепрятываешь. Поскольку все происходит в темноте, узнать, куда перепрятано, невозможно... Стук! Пауза. Стук! Пауза. Стук!..

Хуже, чем Пасха, ничего нет.

Как это? Как можно? А где омытая теплыми слезами благодать победившей жизни? Где неотвратимость наставшего добра, весны, ненеправдой жертвы? Где доверчивые лобызания незнакомых друг другу людей, мир в семьях и кроткие взгляды заблудшего племени человеческого, обращенные к небесам, на которых солнцеворот победоносно удлиняет дни и укрощает ночи?

Ничего этого нет.

В этническом компоте слободы, где уклад племен, кочевавших у Силоамской влаги, и орд, ходивших за стадами возле Урги, почти неотличим, а сами кочевники – те и те, – осевшие теперь по задворкам **вот-вот восьмисотлетнего града**, давно превратились в **компотную** человеческую смесь из трухлявого чернослива, твердого кожистого урюка, по которому сидят стекловидные кратерные глазки урючной болезни, изюма с двумя огромными косточками под дистрофической кожицей, но с царственной среди пергаментных яблочных клочков единственно сухой грушею, которую только развари, и она разбухнет, распухнет и станет государыней **компотного** стакана, – в повседневной

одинаковости, где только древняя злопамятность помогала отличить тех от тех, а этих от этих, именно Пасха приводила все в надлежащее человеконенавистническое разнообразие.

Называлась она тут п а с к а, что почти уже слово о п а с к а, и не трепетное ожидание омытого теплыми слезами чуда, а тревожный ужас по причине готовых потечь хоть сей минут слез обиды или – скажем, от удара в **рыло** – физической боли, повергал многие сердца в смятение и тоску. Словарь святых дней этих, пришедший **из греков в варяги (а тут преобладали ворюги, более того, рецидивисты)**, был странен корнями и звуками: **п а с х а, с к о р о м н о е, х р и с т о с о в а т ь с я, р а з г о в л я т ь с я и е щ е – совершенно непригодное для жизни, страннейшее из слов – м а ц а.** Церквей не было, молельни – полупотайные, у татар вообще п а с к и нету, значит, негде умилиться, потеплеть сердцем, подобреть, и светлый праздник немедленно разделял народы, по очереди метя сперва одних, потом других, потом третьих, – но о третьих ведь никто не знал! – или как-нибудь наоборот: Пасхи не совпадают.
А двусмысленное "красить яйца"?

Вася, миленький дружок,
Погляди на потолок:
Не твои ли яйца красные
Наш котенок поволок?..

И на черной сырой смердящей земле (прости мне, Господи, злое слово!) – терракотовая с белой изнанкой давленная скорлупа. – Мацы, Сара, принес? Счас помацаем! (обыщем, значит, гадский рот, Сара). Стук – пауза. Стук – пауза. Стук – опять в верхнее стекло. В левое. Задуть коптилку, лампу, выключить лампочку, если свет дали, – но его не дали и не дают уже года полтора, – отогнуть маскировку и поглядеть во тьму весеннего пасхального повечерья.

Никого.

Когда вершится Пасха в а ш а, а потом н а ш а или когда они вдруг почти совпадут, тогда или до того... но сперва следовало бы сказать вот о чем:

Когда сходит снег и появляется влажная черная земля, и опрятной ее не назовешь, ибо **петляются по ней сухие выползины картофельной ботвы** и валяется все потерянное или брошенное за прошлый год (а ничего стоящего не теряют и не бросают), и вылезают какие-то белые кучки, возможно, споры мелких, тонконогих к июлю грибочков, а может, яйца каких-то будущих летних жителей и сухое беловатое собачье дерьмо грудками, и посвечивает брошенная латвийская монетка с тремя звездами и двумя стоячими львами на обороте, но ее и поднимать не стоит – их полно! – и лежит истлевший ключ от парадных дверей **Останкинского дворца**, тоже никому не нужный, потому что кто о нем чего знает? – а поскольку потерян ключик, – в старинные года, вот когда! – то мусор он, этот ключик, и поднимать его, все равно что крашеную скорлупу, дураков нет, – так **вот**, когда сходит снег и земля становится черной, сырой и неопрятной, самым первым из-под снега возникает бугор во дворе **шарашки**, на которой делают значки "Отличный пулеметчик" плюс все прочие отличные военные профессии, включая "Гвардию", которая уже вещь. В свалочном бугре на задах штамповочной мастерской обретается брак, и экземпляры оттуда бывают или со сколотой эмалью, или с отломанным штифтом, или со сдвинутым геройским рельефом, или долго пролежавшие и вовсе потемневшие, но, конечно, не так, как одна плакетка, которую найдут в картофельном огороде,

а на ней как бы мадонна с младенцем, а сама она овальная, но меньше куриного яйца, и это не мадонна с дитятей, как ты, Марго, думаешь, а дама с цветком, и – видишь написано? Разбираешь наши буквы! "Убиган"!.. Знаешь, куда это вкладывали? Однажды мне подарили коробку с такими духами...

Володька Юрсон, здоровенный парень, но эпилептик, человек вроде бы добрый, хотя ненадежный, проснулся в плохом настроении. Вчера по Москве **гнали пленных немцев**, и сегодня он опять поймает во многих взглядах: "Ты же немец! Ты же, бля, немец! Латыша из себя строишь?" А он и есть латыш. И всё из-за старшего брата, которого зовут Фридрих, а они с мамой – **Фриц**. Ну откуда было знать, что случится с именем Фриц? Теперь же, имея **брата-фрица**, доказать, что ты – латыш, невозможно. И латышом тоже быть неохота, потому что отца твоего, **латыша, увели неспеша**. И живешь ты на волоске, и работаешь чин чином, и брат твой Фриц тоже работает, и с людьми не **глотничаешь**, и изо всех сил объясняешь, что вы не немцы, и стараешься не объяснять до того места, что вы – латыши, – но народ же, бля! – что с разговорами поделаешь? А если лопнет терпение **у к о г о н а д о** и твоего брата Фрица уведут бриться, заколотив спозаранку в окно, уж им-то сразу станет ясно – немец так немец, латыш так латыш. Или, скажем, немец, но сын **латыша, уведенного неспеша**. Жуть!

Задания переводчику:

1. Отрывок насыщен историческими реалиями, в основном военного времени. Предложите переводческую тактику (собственно перевод, толкующий перевод, сноски) по отношению к следующим реалиям эпохи, выделенным в тексте прямым жирным шрифтом:

керосиновая кухня

коптилка

вот-вот восьмисотлетней град

В этническом компоте слободы - компотная смесь – компотный стакан

Останкинский дворец

шарашка

гнали пленных немцев

брат-фриц

2. Предложите перевод игры слов, в том числе рифмованной:

Называлась она тут п а с к а, что почти уже слово о п а с к а;

из греков в варяги (а тут преобладали ворюги)

двусмысленное "красить яйца"

латыша, уведенного неспеша.

3. Предложите способ передачи ряда слов, выделенных в тексте разрядкой (как пример характерной лексики):

п а с х а, с к о р о м н о е, х р и с т о с о в а т ь с я, р а з г о в л я т ь с я и еще...м а ц а.

4. Предложите перевод словесного образа:

петляется по ней сухие выползины картофельной ботвы

5. Предложите перевод жаргонизма **глотничаешь**; эвфемизма **А если лопнет терпение у кого надо**.

7. Выскажите по поводу переводческих решений, предложенных ниже. Обратите особое внимание на толкование слов и реалий в скобках и в примечаниях (отрывок взят из антологии *Schegge di Russia a cura di Mario Caramitti*, Roma, trad. di Simone Guagnelli

Как вы оцениваете ошибки переводчика, как терпимые или нетерпимые? Дайте обоснования своей оценки.

L'oscurità.

NON TEMERE LE INSIDIE DELLA NOTTE

Ma cos'è? Paura? Ma la paura c'è sempre. Ed ecco che hanno bussato ancora. Di nuovo, come in quel racconto. Ma questo non è un racconto. Questa è la tua vita. Toc! Toc! Toc! La luce è spenta. Di luce, una volta dispiegata la copertura mimetica, non ce ne può proprio essere. Il tuo lume è spento E allora da una fenditura sotto il davanzale prendi una cosa. È incartata. Attraverso l'involucro si percepisce una forma precisa. La nascondi. Giacché tutto avviene al buio, è impossibile sapere dove sia stata nascosta... Toc! Pausa. Toc! Pausa. Toc!

Non c'è niente di peggio della Pasqua.

Come mai? Com'è possibile? E dov'è la bontà suprema della vita trionfante aspersa di calde lacrime? Dov'è l'ineluttabilità del bene imminente, della primavera, del sacrificio necessario? Dove sono i baci fiduciosi fra sconosciuti, la pace nelle famiglie e gli sguardi mansueti della smarrita progenie umana, rivolti a quel ciclo nel quale la rotazione intorno al sole vittoriosamente allunga i giorni e accorcia le notti?

Non esiste niente di tutto questo..

Nel miscuglio etnico della borgata, dove il regime dei popoli nomadi presso le acque di Siloe e delle orde che seguono le mandrie fino a Urga è quasi indistinto, tanto che gli stessi nomadi - questi e quelli - ormai stabilitisi presso i cortili di una città ottocentenaria, da tempo si sono trasformati in un composto umano di prugne secche, di dure albicocche secche, sul quale si annidano le vitree gemme crateriche della malattia dell'albicocco, un composto d'uva passa con due enormi noccioli sotto la buccia distrofica, ma con un'unica secca pera reale fra pezzi avvizziti di mela, che se solo provi a lessarla si gonfia, si gonfia e diventa la sovrana del bicchiere di macedonia. Nell'immutabilità quotidiana, dove solo un antico rancore aiutava a distinguere gli uni dagli altri, proprio la Pasqua ha riportato tutto alla giusta difformità dell'odio umano.

Si chiamava appunto *Pasqua*, che è quasi come la parola *cautela*, e ad aver prodotto in molti cuori panico e angoscia non era stata l'attesa trepidante di un miracolo comparso di calde lacrime, ma il terrore inquietante all'idea delle lacrime pronte a colare in quei momenti per offesa o, per esempio, per un pugno in faccia, per un dolore fisico.

Il dizionario di questi giorni sacri, passato dai greci ai russi ma qui a prevalere erano i ladrussi, per di più recidivi), era strano nelle radici e nei suoni: *pascha* (Pasqua), *skoromnoe* (cibo illecito durante il digiuno), *christosovat'sja* (scambiarsi gli auguri di Pasqua con tre baci), *razgovljat'sja* (riassaggiare finalmente i cibi illeciti a digiuno ultimato), e poi la meno adatta alla vita, la più strana delle parole, *maca* (azzima).

Non esistevano chiese, le cappelle erano seminascoste, presso i tataro la Pasqua non esisteva affatto; non c'era, quindi, dove potersi commuovere, scaldare il cuore, trovare la pace, e questa festa luminosa divise rapidamente i popoli, prendendo di mira nell'ordine prima gli uni, poi gli altri, poi i terzi (ma dei terzi nessuno ha mai saputo nulla), o procedendo in ordine opposto: le Pasque non coincidono.

E il doppio senso di “colorare le uova?”(1)

Vasja, caro mio amichetto

Gli ovetti già tu hai colorato?

O è stato forse il tuo micetto.

Che li t'ha fatto uno scherzetto?

E sulla terra nera, umida e fetida (perdonami, Signore, questa parola cattiva!) c'è un guscio schiacciato di terracotta dal bianco rovescio.

- Hanno portato le azzime, Sara? Ora celebreremo il rito delle azzime! (diamo un'occhiata, dunque, alla bocca ripugnante, Sara).

Toc - pausa

Note:

(1) In russo uova (jajca) vengono chiamati anche i testicoli/

(2) Fritz è il nome dispregiativo dato ai tedeschi durante la guerra/

4.

Андрей Сергеев

АЛЬБОМ ДЛЯ МАРОК

Семилетка

С четвертого по седьмой — тягучая смена состояний: страх — растерянность — настороженность — привыкание — обалдение — скука.

Школа — однородная серая безличная среда. Даже если тебе дали по роже, в этом нет личного отношения. Тот, кто дал, ничего против тебя не имеет. В основе всего не живая жизнь, а некогда установившийся ритуал.

Ты приближаешься к школе. Во дворе рядом с толпой обычно плачет младшеклассник. Старшие всенепременно сворачивают, подбегают:

— Кто тебя? — и не дожидаясь ответа, несутся дальше.

Тыходишь в класс, и на тебя обрушивается орава орущих:

— *Драки- драки -дракачи,*

Налетели палачи!

Кто на драку не придет,

Тому хуже попадет!

Выбирай из трех одно:

Дуб, орех или пшено!

Дуб — получай в зуб

Пшено — но! но! но! — с погонялками.

Орех — на кого грех!

— На Зельцера, на *бздиловатого!*

В классе *стыкались, шмаляли* в морду мокрой тряпкой, толкли мел, валили в чернилки карбид, харкались в трубочку жеваной бумагой или — пакостно и от сытости — хлебом с маслом.

Ф и т и л ь из-под земли вдруг вскидывает руку — ты вздрагиваешь, фитиль расплывается:

— Закон пиратов! — крестит: приставляет пальцы и бьет ладонью в лоб, под дых, в оба плеча с заходом локтем под челюсть.

На уроке подзатыльник сзади и шепотом:

— Передай!

Над головою ладонь и тихо:

— Висит!

— Бей! — успевает сосед, и ладонь опускается.

На первых партах гудят или натужно рыгают — особое искусство. На средних — под партой играют в картишки, подальше — из рогатки стреляют в доску и по флаконам. Рогатка — резинка с петельками на большой и указательный. Сжал кулак — ничего нет. Стреляют бумажными жгутами, злодеи — проволочными крючками.

На Камчатке, очнувшись от одури, замедленно удивляются:

— *Странная вещь,*

Непонятная вещь...

По рядам шорох — продолжение известно:

...Отчего моя жопа потеет?

— *Оттого, что сидеть,*

Головою вертеть

Запретить нам никто не посмеет!

<...>

На уроках я всматриваюсь, ищу интеллигентные лица, вслушиваюсь, стараюсь не пропустить благозвучную фамилию — тщетно.

На переменах, во время буйства я съезживаюсь, ощетиниваюсь. С Большой Екатерининской я вынес ожидание каблука, который меня, амебу, раздавит.

Ощетиниваюсь, съезживаюсь — и мне прозвище: Еж, Ежик — недобро.

Антисоветчик Александров меня за сутулость: Горбатый Хер.

Из долгопрудненской жестяной коробки всем раздаю дефицитные перышки.

Всем подсказываю, подсовываю списать.

Сержусь, что сосед-татарин не способен скатать диктант или контрошку.

Все время в напряжении. Руки прижаты к бокам. Из подмышек сбегает холодными струйками пот. В школе — чувство физической грязи. Я брезгаю казенными завтраками — зараза — стараюсь не заходить в уборную.

С последним звонком срываю со стены пальто — вешалка тут же в классе — и домой.

После второй смены по темным улицам страшно. Ничего, когда по пути с кем-то. Когда один, мамино/бабушкино: вон идет человек, смотри, чтоб он тебя не стукнул.

На темной улице отнимают учебники: большие деньги на рынке. Я учебников не носил.

— Ты домой прибежал прям' весь в мыле. Я тебе по четыре рубашки на дню меняла. (!?)<...>

И куда я так стремился? Мне ведь нужно было к утешительному занятию, чтобы один и в покое. Покой был, весьма относительный. Один — втроем на тринадцати метрах — я почти никогда не бывал. Делая уроки, громко выл, чтобы заглушить телефонные разговоры, соседское радио. На улицу не выходил: за зиму на Большой Екатерининской слабые дворовые связи отсохли.
<...>

Третий класс. Сталинская красotka — перекинь, надо лбом валик, маленькие глаза, большие щеки:

— Баба-Яга в ступе едет, помелом следы замечает.

— Людмила Алексеевна, что такое ступа?

— Это тележка такая. <...>

Сначала просвет: Яков Данилович, литератор, с фронта, только что руки-ноги целы. Интеллигентные очки, ямочка на подбородке:

— Кто знает, откуда произошло слово «алфавит»? Может, кто догадается? Кто из вас учил иностранный язык?...

Несколько раз его замещал еврей, опухший, в очках — такой в переулке просил у мамы двадцать копеек, и она дала ему рубль: несчастный. Класс не ставил его ни во что, игнорировал или глумился:

— ***Швейка пришел! Швейка!***

Он ничего не замечал и с нищим пафосом свистел межзубными:

Вороне где-то Бог повлал куОочек виру... ЛиОица видит вир, либицу дир пленил... Потом русский/литературу ***захамила*** арифметичка — старая, румяная, хромая: ***Рубь-сорок***, Яков Данилович называл свой предмет литературное чтение, Клавдия Александровна — просто чтение.

Отчитала меня за ***дитё*** в изложении. Распекла Булекова: в диктанте ***халат написал холод***. Булеков был последний китаец со Сретенки, сын циркача.

Задания переводчику:

1. Предложить тактику передачи наименее поддающихся переводу или вовсе непереводаемых элементов текста (игры слов; рифмованных шуток; в том числе обценных; школьных жаргонизмов; акцента; орфографических ошибок персонажа; значащих прозвищ), выделенных курсивом и жирным шрифтом.
2. Оценить передачу этих элементов, а также синтаксических особенностей текста в отрывке из перевода (являющегося частью магистерской диссертации Francesca Gamurrini, ун-тет "La Sapienza").

ALBUM DI FRANCOBOLLI

Scuola dell'obbligo

Dalla quarta classe alla settima è un monotono avvicinarsi di stati d'animo: paura, smarrimento, diffidenza, assuefazione, rimbambimento, noia.

La scuola è un ambiente uniforme, grigio, impersonale. Se anche ti hanno preso a pugni sul muso, in questo non c'è niente di personale. Quello che te le ha date non ha niente contro di te. Alla base di tutto non c'è la vita reale, bensì un rituale stabilitosi chissà quando.

Ti avvicini a scuola. Nel cortile, di lato alla folla di studenti, c'è solitamente uno delle classi inferiori che piange. I più grandi immancabilmente svoltano, si avvicinano di corsa:

– Chi è stato? – e, senza aspettare la risposta, passano oltre.

Entri in classe e ti aggredisce un'orda urlante:

Pugni, calci e botte
Arrivano i boia a frotte!
Chi la rissa non arrischia
Noi facciamo che patisca!
Scegli tu, che ormai sei dentro:
destra, sinistra o centro!

Destra – una botta in testa!

Sinistra – sì! sì! sì! – e giù con le bacchettate.

Centro – chi ne busca cento?

– Zel'cer, il cacasotto!

In classe si spellicciavano/scazzottavano/intruppavano, si prendevano a sganassoni con la cimosa bagnata, tiravano i gessetti, ammucchiavano la cenere di carburo nei calamai, sputazzavano con una cerbottana pezzi di carta masticata oppure, senza ritegno e perché già sazi, (pezzetti di) pane col burro.

All'improvviso, Moccolo, così dal nulla, alza di scatto il braccio, tu sobbalzi, lui allarga un sorriso ebete:

– Legge dei pirati! – e ti benedice: accosta le dita e ti colpisce con il palmo in fronte, al plesso solare, su entrambe le spalle e con il gomito sotto la mascella.

Durante la lezione ti arriva uno scapaccione da dietro e un sussurro:

– Passa avanti!

Il palmo sospeso sulla testa e a bassa voce:

– Ci sono!

– Vai! – fa appena in tempo a dire il vicino, e il palmo cala giù.

Ai primi banchi mugugnano o fanno rutti di proposito – è un'arte peculiare. Nelle file di mezzo giocano a carte sotto il banco, più indietro tirano con la fionda alla lavagna e alle plafoniere. La fionda è fatta da un elastico con un occhiello sul pollice e uno sull'indice. Si stringe il pungo, e scompare tutto. Tirano dei lunghi proiettili di carta, i più sciagurati tirano uncini di filo metallico.

All'ultimo banco, riavutisi dall'intontimento, si meravigliano intorpiditi:

– Strana cosa,
inesplicabile cosa...

Fruscio fra le file, ed il resto è noto:

... perché mi suda il culo a metà?
– Perché di restare a sedere
e dimenare la testa a dovere
negarcelo nessuno oserà!¹

Per le anime più semplici –

un lamento sommesso: - Ahi, che dolore al petto...

per solidarietà: - Io ho una gamba malata...

fra sé e sé: - Ed io un cazzo eretto,

vorrei farmi una scopata.

<...>

Durante le lezioni mi guardo intorno con attenzione, cerco visi umani, tendo le orecchie, cerco di non lasciarmi sfuggire un cognome fastoso; invano.

A ricreazione, quando si scatena il delirio, io mi rattrappisco, drizzo il pelo. Dalla Bol'shaja Ekaterininskaja mi sono portato dietro quell'aspettarmi sempre un tacco che arriva su di me, ameba, per schiacciarmi.

Drizzato il pelo, mi rattrappisco, da qui il mio soprannome: Riccio, Riccetto, ma detto con malevolenza. Aleksandrov l'antisovietico per la mia schiena curva mi chiama Pisellone Gobbo.

Da una scatola di latta di Dolgoprudnyj distribuisco a tutti i pennini deficitari.

Suggerisco a tutti, li faccio a copiare.

Mi arrabbio perché il mio vicino di banco, un tataro, non è capace di copiare il dettato o il compito in classe.

¹ Tynjanov al ginnasio ne conosceva una simile, aveva trovato il modello nei versi di Fëdor Glinka.

Tutto il tempo in tensione. Le braccia premute sui fianchi. Dalle ascelle scende in rivoli freddi il sudore. A scuola si ha una sensazione di sporcizia fisica. Le colazioni che ci passa lo stato mi fanno senso, attento alle infezioni!, evito di andare al gabinetto.

All'ultima campanella agguanto il cappotto dalla parete (l'attaccapanni è lì in classe) e via a casa. Dopo il turno di lezioni pomeridiano le strade buie mettono paura. Quando sei in compagnia non fa niente. Da solo, eccoti la voce della mamma/nonna: *arriva qualcuno, sta attento che non te le suoni.*

Nelle strade buie ti portano via i libri scolastici: fruttano parecchio al mercato nero. Io di libri con me non ne avevo.

– Arrivavi a casa di corsa in un bagno di sudore. Ti dovevo cambiare la camicia quattro volte al giorno. (!?)<...>

A cosa tendevo con tanta furia? Avevo evidentemente bisogno di un'occupazione consolatrice, di starmene da solo e in pace. Di pace ce n'era, molto relativamente. Di stare solo, vivendo in tre in tredici metri quadrati, non mi capitava quasi mai. Mentre facevo i compiti, strillavo (mugugno, parlavo) forte per non sentire le conversazioni telefoniche, la radio dei vicini. Fuori non ci andavo: nel corso dell'inverno sulla Bol'shaja Ekaterininskaja i tenui legami tra vicini si erano spenti. <...>

In terza. Parla una bellezza staliniana, capelli ossigenati, un'onda sulla fronte, occhi piccoli e gote grandi:

– La Baba Jaga viaggia in un mortaio, con una scopa cancella le tracce.

– Ljudmila Alekseevna, che cos'è un mortaio?

– È una specie di carretto. <...>

All'inizio uno spiraglio di luce: Jakov Danilovič, insegnante di letteratura, reduce dal fronte, è già *tanto se ha ancora mani e piedi*. Occhiali da intellettuale, una fossetta sul mento:

– Chi sa dirmi da cosa deriva la parola “alfabeto”? Qualcuno vuole indovinare? Chi di voi ha studiato una lingua straniera? <...>

Lui non resistette a lungo: *era già tanto se aveva ancora mani e piedi*. Per alcune volte lo sostituì un ebreo, gonfio, con gli occhiali. Uno così, in un vicolo, aveva chiesto a mia madre venti copechi e lei gli aveva dato un rublo intero: poveretto. La classe non lo teneva in gran conto, lo ignorava oppure lo derideva:

– È arrivato Levi, e levati allora!

Lui non si accorgeva di niente e con misera enfasi sibilava le interdentali:

– Un peffetto di formaggio Dio fpedi alla cornacchia...

Una volpe lo trovò e prigioniera ci reftò...

Poi le ore di russo/letteratura se le accaparrò quella di aritmetica, anziana, con la pelle arrossata, zoppa: la Sbilenca. Jakov Danilovič chiamava la sua materia lettura letteraria, Klavdija Aleksandrovna semplicemente lettura.

Mi redarguì per un *marmocchio* nel tema. Diede una lavata di capo a Bulekov: nel dettato *accappatoio* l'aveva scritto *acapatoio*. Bulekov era l'ultimo cinese di via Sretenka, figlio di un artista del circo.

Н. В. Гоголь

ШИНЕЛЬ

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет *сердитее* всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе.... Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами *по обеим сторонам щек* и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, ***натрунились и наострились*** вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. **Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака;** но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и ***выисканным***, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич ***против ночи***, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, ***расположилась***, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. "Нет, - подумала покойница, - имена-то все такие". Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. "Вот это наказание, - проговорила старуха, - какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий". Еще перевернули страницу - вышли: Павсикахий и Вахтисий. "Ну, уж я вижу, - сказала старуха, - что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий". Таким образом и произошел **Акакий Акакиевич**. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник <...>

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда

взявшись, *лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку*, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, - когда все уже отдохнуло после департаментского *скрыпенья* перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, - когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, *определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок*; кто на вечер - истратит его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату *в четвертый* или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, - словом, даже в то время, когда все чиновники *рассеиваются по маленьким квартиркам* своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копейными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, *занесуюся из высшего общества*, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, - словом, даже тогда, когда *все стремится развлечься*, - Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. *В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам*, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в *тощенькой шинелишке* перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской,

пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к *должностным отправлениям*. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало *пропекать* в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее *законное пространство*. Он подумал наконец, не заключается ли каких *грехов* в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась.

Задания переводчику:

1. Гоголь часто использует обороты, не совпадающие с обычным современным словоупотреблением. Определите, чем отличаются обороты, выделенные курсивом и жирным шрифтом, от стандартных современных; предложите возможные варианты их передачи.

2. Предложите тактику передачи деривативной связи **Башмачкин-башмак** в тексте: **Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака.**

3. Выскажите по поводу решений, предложенных в следующих отрывках из перевода (Internet).

Попытайтесь найти ошибки переводчика. Вы оцениваете их как терпимые или нетерпимые? Дайте обоснования своей оценки.

IL CAPPOTTO

In un ministero... meglio non dire in quale. Non c'è nulla di più suscettibile dei ministeri, dei reggimenti, degli uffici e, insomma, d'ogni sorta di corpo burocratico. Al giorno d'oggi, ormai, ogni privato cittadino ritiene che lì venga offesa tutta la società. Pare che molto recentemente un capitano di polizia non ricordo di quale città, abbia presentato un esposto in cui dice a chiare lettere che le istituzioni statali vanno in rovina e che il loro sacro nome viene pronunciato invano. E, come prova delle sue affermazioni, costui ha allegato all'esposto il grosso volume di un'opera letteraria dove, ogni dieci pagine, appare un capitano di polizia, in certi punti persino in stato d'ubriachezza. Perciò, ad evitare ogni seccatura, sarà meglio chiamare "un ministero" il ministero di cui si tratta. Dunque in "un ministero" prestava servizio "un funzionario", un funzionario che non si può dire che fosse molto importante.

Era di bassa statura, alquanto butterato, rossiccio, persino un po' debole di vista, con una incipiente calvizie, rughe da entrambe le parti delle guance e quel colore della faccia che si dice emorroidale... Che farci? la colpa è del clima di Pietroburgo. Quanto al grado (da noi bisogna innanzi tutto dichiarare il grado), era ciò che viene chiamato un eterno consigliere titolare, del quale, com'è noto, si sono beffati e presi gioco in abbondanza i vari scrittori che hanno la lodevole abitudine di prendersela con quelli che non possono mordere. Il cognome del funzionario era Basmackin. Già da questo nome si vede che esso, in un tempo lontano, aveva avuto origine da una scarpa; ma quando, in quale epoca e in qual modo esso fosse derivato dalla scarpa è assolutamente ignoto. Il padre, il nonno, il cognato, insomma assolutamente tutti i Basmackin andavano in giro con gli stivali, rinnovando solo tre volte all'anno le suole. Il suo nome era: Akàkij Akakièvic. Al lettore parrà forse alquanto strano e ricercato, ma posso assicurare che esso non era stato scelto, solo che, a causa di particolari circostanze, non fu assolutamente possibile dare un altro nome. Avvenne

precisamente così: Akàkij Akakièvic nacque verso sera, se la memoria non mi tradisce, il ventitré di marzo. La madre, moglie d'un funzionario e ottima donna, si dispose, come si usa, a battezzare il bambino. Ella giaceva ancora nel letto, di fronte alla porta, e alla sua destra stava il padrino, Ivàn Ivanòvic Eroskin, che prestava servizio come capufficio al senato, e la madrina, moglie d'un ufficiale di polizia, donna di rare virtù, Arìna Semènovna Belobrjùskova. Alla genitrice proposero di scegliere fra uno dei seguenti nomi:

Mòkkija, Sòssija, oppure di chiamarlo con il nome del martire Chozdazàt.

"No," pensò la madre, "che razza di nomi!" Per compiacerla aprirono il calendario in un altro punto; uscirono altri tre nomi: Trifilij, Dùla, Varachàsij!" "Ma questo è un flagello," disse la donna, "che razza di nomi continuano a venir fuori; davvero non li ho mai sentiti. Fosse ancora Varadàt o Varùch, ma Trifilij e Varachàsij!" Voltarono ancora la pagina e uscirono: Pavsikàkij e Vachtisij.

"Beh, ormai vedo," disse la donna, "che questo è il suo destino.

Già che dev'essere così, meglio che si chiami come suo padre. Suo padre è Akàkij e che pure il figlio sia dunque Akàkij." Così saltò fuori il nome Akàkij Akakièvic. Il bambino venne battezzato, e durante il battesimo scoppiò a piangere e fece una smorfia, come se avesse il presentimento di diventare un giorno consigliere titolare....

Akàkij Akakièvic, anche se guardava qualcosa, vedeva sempre le sue righe pulite, scritte con calligrafia regolare, e forse soltanto se un muso di cavallo, venuto chissà di dove, gli si appoggiava su una spalla e gli soffiava dalle frogie un uragano di vento sul collo, forse solo allora si accorgeva che non stava a metà d'una riga, ma a metà d'una strada.

Arrivando a casa si sedeva subito a tavola, trangugiava alla svelta la sua zuppa a base di cavoli, mangiava un pezzo di bue con la cipolla, senza rendersi conto del loro sapore. Mangiava tutto questo insieme con le mosche e con tutto quello che Dio gli mandava in quel momento. Quando sentiva che lo stomaco cominciava a gonfiarsi, si alzava da tavola, tirava fuori una boccetta d'inchiostro e ricopiava qualche incartamento che s'era portato a casa. Se non ne aveva, faceva apposta, per il proprio piacere, una copia per sé, specialmente se l'incartamento era considerevole non tanto per l'eleganza dello stile, quanto per il fatto che si rivolgeva a qualche personaggio nuovo o importante.

Persino nelle ore in cui il grigio cielo di Pietroburgo si spegne completamente e tutto il popolo impiegatizio s'è pasciuto e saziato, come ognuno può, in conformità agli stipendi e al personale capriccio, quando tutti riposano dopo il ministeriale scricchiolio di penne, il correre qua e là, le imprescindibili occupazioni proprie e altrui (che l'uomo inquieto s'assegna volontariamente persino più del necessario), quando i funzionari s'affrettano a dedicare al piacere il tempo che resta: chi è più vivace, corre a teatro; chi in strada, dedicando il proprio tempo alla contemplazione di certi cappellini; chi a una serata, prodigando complimenti a qualche leggiadra ragazza, stella d'una piccola cerchia di funzionari; chi, e questo succede più spesso, se ne va semplicemente da un amico a un quarto o terzo piano, in due piccole stanze con un'anticamera e una cucina e certe pretese d'eleganza, una lampada o un'altra cosetta che è costata molti sacrifici, rinunce a pranzi e a passeggiate. Insomma, anche nell'ora in cui tutti i funzionari si sparpagliano nei piccoli alloggi degli amici a giocare un burrascoso whist, sorseggiando il tè dai bicchieri insieme a biscotti da un copeco, aspirando il fumo da lunghe pipe, riportando mentre si danno le carte qualche maldicenza dell'alta società, dal che mai e in nessuna occasione può esimersi l'uomo russo, oppure, quando non c'è altro di cui parlare, raccontando l'eterna barzelletta del

poliziotto a cui vengono a dire che è stata tagliata la coda al cavallo del monumento di Falconet - insomma anche quando tutti corrono a distrarsi, Akàkij Akakièvic non s'abbandonava ad alcun divertimento. Nessuno poteva dire d'averlo mai veduto a qualche serata. Dopo aver copiato a sazieta, si metteva a letto sorridendo in anticipo al pensiero del domani, di quel che l'indomani Dio gli avrebbe mandato da copiare.

Così trascorreva la sua pacifica esistenza un uomo che con quattrocento rubli di stipendio sapeva essere contento della sua sorte, e avrebbe forse raggiunto così la tarda vecchiaia se la strada della vita non fosse disseminata di vari guai non solamente per i consiglieri titolari, ma anche per quelli segreti, effettivi, di corte e d'ogni altro genere, e persino per quelli che non danno consigli a nessuno e da nessuno ne prendono.

C'è a Pietroburgo un forte nemico di tutti coloro che ricevono quattrocento rubli l'anno di stipendio o giù di lì. Questo nemico non è altri che il gelo pietroburghese, sebbene qualcuno dica che sotto diversi aspetti sia assai salutare. Alle nove del mattino, precisamente nell'ora in cui le strade si riempiono di coloro che si recano ai ministeri, esso comincia a dare pizzicotti così energici e pungenti su tutti i nasi senza distinzione, che i poveri funzionari non sanno più dove infilarli. A quest'ora, quando anche a chi occupa le cariche più elevate duole la fronte per il gelo e vengono le lacrime agli occhi, i poveri consiglieri titolari sono talvolta completamente indifesi. L'unica salvezza consiste nel percorrere di corsa con il leggero paltoncino cinque o sei strade e poi pestare per bene i piedi in anticamera fino a quando tutte le facoltà e le doti naturali necessarie alle mansioni d'ufficio, congelatesi lungo la strada, non si disgelano per bene.

Da qualche tempo Akàkij Akakièvic cominciava ad avvertire in modo particolarmente acuto, sulle spalle e sulla schiena, i rigori del gelo, benché si sforzasse di percorrere al più presto e di corsa il tragitto dalla casa all'ufficio. Alla fine si chiese se il suo cappotto non avesse qualche difetto. A casa sua lo esaminò accuratamente e scoprì che in due o tre posti, precisamente sulla schiena e sulle spalle, esso era diventato leggero come un velo: il panno s'era talmente liso che ci si vedeva attraverso e la fodera si sfilacciava.

6.

А. Н. Радищев

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

"Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй".
"Тилемахида",
том II, кн. XVIII. стих 514.

А. М. К. Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! **сочувственник** мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое **бьет** моему согласно - и ты мой друг. Я взглянул **окрест** меня - душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою - и **узрел**, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа **только** скупа была к своим **чадам**, что от **блудящего** невинно сокрыла истину навеки?

Ужели **сия** грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство **николи**? Разум мой **вострепетал от сея** мысли, и сердце

мое далеко ее от себя **оттолкнуло**. Я человеку нашел утешителя в нем самом. "Отыми завесу с очей природного чувствования - и блажен буду". **Сей глас**

природы раздавался громко в **сложении** моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и - **веселие неизреченное!** - я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных. **Се мысль**, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто **состраждет** со мною над бедствиями собратий своей; кто в шествии моем меня подкрепит, - не **сугубый** ли плод произойдет от **подъятого** мною труда?.. **Почто, почто** мне искать далеко кого-либо? Мой друг! Ты близ моего сердца живешь - и имя твое да озарит сие начало.

Выезд

Отужинав с моими друзьями, я лег в **кибитку**. Ямщик, по обыкновению своему, поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно; но блажен тот, кто расстаться может не улыбаясь; любовь или дружба **стрегут** его, утешение. Ты плачешь, произнося прости; но **вспомни** о возвращении твоём, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, **яко роса пред лицом солнца**. **Блажен возрыдавший, надейся** на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его

усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зеркалах воображения.

Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моя, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему

уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелены; не было тут источника на прохлаждение, не было **древесныя сени** на умерение зноя. **Един**, оставлен среди природы

пустынный! Вострепетал.

- Несчастный, - возопил я, - где ты? Где девалося все, что тебя прельщало? Где то, что жизнь твою делало тебе приятною? **Неужели веселости, тобою вкушенные**, были сон и мечта? - По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит **дом в три жилья**.

- Что такое? - спрашивал я у повозчика моего.

- Почтовый двор.

- Да где мы?

- В Софии, - и между тем выпрягал лошадей.

София

Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости:

- Барин-батюшка, на водку! - Сбор сей хотя не законный, но охотно всякий его платит, дабы не ехать по указу. Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто ездил на почте, тот знает, что подорожная есть сберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральский, может быть, исключая, будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.

Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо.

- Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. - Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и **паки** захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо.

- Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, - и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился. "Если лошади все в разгоне, - размышлял я, - то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне..." Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо крепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрвав еще глаз, спрашивал:

- Кто приехал? Не... - Но, опомнившись, увидя меня, сказал мне: - Видно, молодец, ты **обык так** обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. - Со гневом г. комиссар лег спать

в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане **приличались**, но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запрячь мне поскорее лошадей, и в самое-то время, когда я **намерялся сделать преступление на спине комиссарской**, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл добрый гражданин. Итак, двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости. Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таких песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умеи **учреждать бразды** правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, **сварлив**. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории, российской. Извозчик мой поет. Третий был час пополудни. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа, **объяв человека в пелены скорби** при рождении его, влача его по **строгим хребтам боязни**, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? - **Отче всеблагий**, неужели отворишь взоры свои от **скончающегося бедственное житие** свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. **Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо**. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

Тосна

...Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой - кто он был? - узнал я, что то

был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа:

- Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при *разрядном архиве*, имел случаи употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю не редкого в княжеское достоинство, показав от *Владимира Мономаха* или от самого *Рюрика* его происхождение.

- Милостивый государь! - продолжал он, указывая на свои бумаги. - Все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но с дозволения

вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженный памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новгородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титула и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших вострежило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титул маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев....

Задания переводчику:

1. Язык Радищева многими элементами, как синтаксическими, так и лексическими, отличается от современного. Предложите меру архаизации перевода, учитывая, что с одной стороны необходимо передать дух оригинала; а с другой, - соответствовать требованиям современных издателей, обычно возражающих против архаизации в переводе.

2. Слова эпиграфа являются славянизмами. Определите, насколько возможна передача не только значения (обло - тучно; озорно - нагло, пакостливо; лай - лающее), но и стилистического регистра.

3. Эпиграф - слегка измененный стих поэмы В. К. Третьяковского "Тилемахида" (1766).

А. М. К. - инициалы Алексея Михайловича Кутузова, товарища Радищева по Лейпцигскому университету, писателя, масона. Посвящение Кутузову - не только дань дружбы, но и акт полемики. Как вы предлагаете поступить с этой информацией?

4. Оцените стилистический регистр, слов, выделенных прямым жирным шрифтом. Предложите свое решение.

5. Следующие устаревшие реалии, выделенные в тексте курсивом и подчеркиванием, можно дать в переводе или русским словом, переданным латиницей. Как вы предлагаете поступить в каждом случае?

Кибитка

Подорожная (документ на получение почтовых лошадей) .

Разрядный архив (разрядный архив - хранилище родословных документов боярства и дворянства.)

6. Следующие исторические реалии, выделенные в тексте курсивом и подчеркиванием, должны быть так или иначе разъяснены читателю. Как вы предлагаете поступить с разъясняющей информацией.

Владимир Мономах

Рюрик

вашего высокородия, благородия или высокоблагородия

местничество... (система распределения служебных мест с учетом происхождения)

наравне с новгородским дворянством (новгородское дворянство вело свою родословную с момента разгрома Новгорода Иваном Грозным (1570) и было сравнительно небогато).

табель о рангах (система чинов, утвержденная Петром I (1722), согласно ей, дворянское звание давалось за выслугу)

наша мать (употребительное именование Екатерины Великой).

7. Оцените решения, предложенные в следующем переводе посвящения и вступления:

*«Mostro ringhiante dalle cento fauci, tozzo, feroce, gigantesco»
Telemachide, vol. II, libro XVIII, verso 514.*

A A.M.K. Amatissimo amico

Qualsiasi cosa l'intelletto e il cuore abbiano voluto produrre, a te, che condividi il mio sentire, sia essa dedicata. Molte mie opinioni differiscono dalle tue, ma il tuo cuore batte con il mio all'unisono. Tu sei mio amico.

Mi sono guardato attorno e la mia anima è stata straziata dalle sofferenze del genere umano. Ho volto lo sguardo dentro me e ho compreso: le disgrazie dell'uomo provengono dall'uomo, e spesso solo perché egli non guarda in modo corretto ciò che lo circonda. Possibile, mi dicevo, che la natura sia stata a tal punto avara con i suoi figli da tener celata la verità per sempre a colui che erra senza colpa? Possibile che questa terribile matrigna ci abbia generati perché provassimo solo dolori e mai la felicità? La mia ragione a questo pensiero ha vacillato e il mio cuore lo ha respinto lontano. Ho trovato un consolatore per l'uomo nell'uomo stesso. «Si strappi la benda dagli occhi del naturale sentire e io sarò beato!». Questa voce della natura riecheggì possente in tutto il mio essere. Mi riscossi dallo sconforto in cui la sensibilità e la compassione mi avevano gettato e avvertii in me forze sufficienti per oppormi all'errore e – gioia indicibile! – sentii che ognuno può essere compartecipe della prosperità dei propri simili. Ecco il pensiero che mi ha indotto a scrivere quello che stai per leggere. Ma se, mi son detto, trovassi qualcuno che approvi i miei propositi, qualcuno che in considerazione del loro nobile scopo non condanni questa infelice rappresentazione dei miei pensieri, qualcuno che si dolga con me delle disgrazie dei suoi fratelli e che mi sostenga nel cammino, l'impresa a cui mi sono accinto non produrrà duplice frutto? E perché mai, perché dovrei cercare lontano? Tu, amico mio, vivi vicino al mio cuore. Che il tuo nome illumini questo esordio.